

лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

— Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

— Будут, будут, — подхватил чиновник, — к вечеру до зари еще будут!

— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

— Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.

— Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!

— И таких господь бог любит, — подхватил чиновник.

— А ты ступай за мной, строка, — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих — до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.

II

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом

весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупках. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин — человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простибельных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо — стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые, очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным» и — куда пойдет век? — даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного,

разумеется, во всяком случае «тузового». Но все было впереди, время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается *истинная* жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства, — все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.

Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ — правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство,

впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было, — не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых годах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться.

В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданым не малым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, — все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола — младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный

живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя.

Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самою приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену.

— Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, — проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.

— Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?

— В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?

Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его.

— Да, у меня дело... — начал было князь.

— Я вас не спрашиваю, какое именно дело, — мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду.

Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по *делам*, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.

— Да вы точно... из-за границы? — как-то невольно спросил он наконец — и сбился; он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»

— Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я князь Мышкин, да не спросили из вежливости.

— Гм... — промычал удивленный лакей.

— Уверяю вас, что я не солгал вам и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.

— Гм. Я опасюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно узнать?

— О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.

— Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь... компанейский.

— Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.

— По-ку-рить? — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще не веря ушам. — Покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе... чудно-с!

— О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и, знаете, есть пословица: в чужой монастырь...

— Ну как я об вас об таком доложу? — пробормотал почти невольно камердинер. — Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится... Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? — прибавил он, еще раз нахмурившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.

— Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего.

— Как? Познакомиться? — с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер. — Как же вы сказали сперва, что по делу?

— О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так только совета спросить, но я, главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и, кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.

— Так вы еще и родственник? — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.

— И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что по-настоящему и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы все еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут — хорошо, не примут — тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша, уж конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.

Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с *человеком*. А так как *люди* гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать.

— А все-таки вам в приемную бы пожаловать, — заметил он по возможности настойчивее.

— Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, — весело засмеялся князь, — а стало быть, вы все еще

беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.

— Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.

— Чиновник-то?

— Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.

— Я уж об этом думал; если позволите. И знаете, сниму я и плащ?

— Конечно, не в плаще же входить к нему.

Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы.

Хотя князь был и дурачок, — лакей уж это решил, — но все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.

— А генеральша когда принимает? — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.

— Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.

— Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, — заметил князь, — а вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой — так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.

— Не топят?

— Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.

— Гм! А долго вы изволили ездить?

— Да четыре года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне.

— Отвыкли от нашего-то?

— И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: «А ведь я хорошо говорю». Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется.

— Гм! Хе! В Петербурге-то прежде живали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)

— В Петербурге? Совсем почти нет, так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько слышно нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.

— Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?

— Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот, опять, у нас смертной казни нет.

— А там казнят?

— Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.

— Вешают?

— Нет, во Франции всё головы рубят.

— Что же, кричит?

— Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно... Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда

объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.

— Не их дело.

— Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил — плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страха можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «Не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.

Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.

— Хорошо еще вот, что муки немного, — заметил он, — когда голова отлетает.

— Знаете ли что? — горячо подхватил князь. — Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного

страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот — что вот знаешь наверняка, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас, — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство — несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор *наверно*, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!

Камердинер, хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его.

— Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь. В дверь войдете, направо каморка; там можно, только форточку растворите, потому оно непорядок...

Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя.

— Это, Гаврила Ардалионыч, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, — докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник, приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке, только...

Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему.

— Вы князь Мышкин? — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, средне-высокого роста, с маленькою наполеоновскою бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ.

«Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется», — почувствовалось как-то князю.

Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал.

— Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?

— Точно так.

— Так вас здесь знают и наверно помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу... Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную... Зачем они здесь? — строго обратился он к камердинеру.

— Говорю, сами не захотели...

В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда.

— Ты здесь, Ганя? — крикнул голос из кабинета. — А пожалуй-ка сюда!

Гаврила Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет.

Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича:

— Князь, пожалуйста!

III

Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

